

Художнику не терпелось. Выйдя на улицу, он пошел торопливым и каким-то даже жадным шагом, как будто, вышагивая, он поглощал огромными кусками пространство, а не проходил по нему. И ему так же жадно хотелось проглотить восхитительную тучу, озаряющуюся молнией, луну и дорогу, освещенную кое-где желтым или холодно-голубоватым светом.

Туча восхитила Нежина тем, что сверкала в полном предгрозовом затишье с перерывом в секунду. Раз – вспышка, два – вспышка, три – вспышка. Ни грома, ни дождя пока не было. Только расплывшаяся в стороны эта низкая дородная туча озарялась желтым так часто, как

бьется сердце. Художник пожирал глазами ее горчично-желтое биение, и в нем еще сильнее, мощнее поднималось вдохновение.

Однако не было оно легким, как дыхание бриза. Не было совсем. Трубя десятью иерихонскими трубами, оно перло выше и выше и походило скорее на бычий гон или табун взмыленных жеребцов, нежели на дар луноликой музыки, сотканной из грез... О нет! Пер в нем, пер жестко, туго, яро табун, и табун высекал своими неутонченными копытами образы и швырял, как куски свежатины – в клетку к церберу.

Крепкие образы будоражили сознание, от них хотелось выть, клацать зубами и практически сладострастно, плотоядно их воплощать и тут же пожирать. Воплощать и пожирать. Рожать и уничтожать.

Нежин перестал смотреть на тучу, потому что она вызвала у него творческую лихорадку и какую-то перевдохновенность, и побежал легкой трусцой, чтобы скинуть эти ощущения и немного привести свой ум к обыденному и более деловому состоянию. Но, к его удивлению, ощущения усиливались, и их уже стало невозможно отличить от физического перевозбуждения. Он горел.

И до чего странно было вспоминать теперь о той вселенской усталости, которая настигла его в библиотеке. Он ведь даже языком не мог пошевелить и с трудом держал спину в кресле. Сейчас же в нем все требовало действия, трубило, жарилось и требовало – требовало! Тридцать три тысячи верст он бы сейчас мог промчать, лишь бы достать потребное.

Он увидел молоденькую девушку, снова перешел на шаг. «Ну не скотина же я, чтоб вот так?» – пронеслось в голове.

Незнакомка при приближении покосилась на него и опустила довольно дурное личико, как будто почувствовав

что-то, а он обернулся ей вслед и застыл. Ему показалось это дурное личико как раз нужным. Необходимым! Будь она красива, прелестна, свежа, она бы его, кажется, сейчас не заинтересовала. Но вот с угристой кожей, с потупленными, близко посаженными, маленькими, как у крота, глазами, с жидкими волосинами, свисающими плаксиво, она еще больше в нем раздухарила звериного. Он сглотнул. И еле-еле продолжил свой путь домой. Как же хотелось догнать ее, схватить за руку, напугать. Как же хотелось, чтоб она вытаращила свои кротовые глазки и приоткрыла от страха свой рот.

«Что же делать? – думал Нежин. – Вот только мечта, по сути, сбылась. Как долго я мечтал о заказе, вот настоящий заказ! Сейчас бы мне работать, не покладая рук, а тут такое негодное дело... М-да, а вдруг за это какая-нибудь мне кара полагается, если я сейчас пойду, скажем, не той дорогой?» – так он размышлял, а между тем в такой предгрозовой вечерний час встречались ему шедшие куда-то девушки и женщины.

Туча, озаряющаяся горчично-желтым, его уже не беспокоила. Он постарался на нее посмотреть и отвлечься, но все без толку: глаза уже тарасились и раздевали попадающихся ему на пути женщин. Его глаза, кажется, горели в темноте, как два угля, как два волчьих изголодавшихся глаза. И до чего все, такие разные, женщины приходились ему нужными!

«Тьфу бы на меня, – как-то жалобно он говорил самому себе и так жалко, будто с поджатым хвостом, смотрел вслед какой-нибудь фигурке с очертаниями, а в следующий миг ревел, – ну это невозможно!». Мучило его выдуманное им тут же суеверие, что, дескать, сейчас, в этот славный час, когда все угодники бьют празднично в звонницы и раскачивают бронзовые купола, когда все его ангелы-хранители пьют кагор в бордовых чашах за его первый

заказ, он не может вот так взять и пойти на поводу у такого вот чувства, в котором даже романтики нынче не учуять – одно зверье.

Гром прогрохотал где-то очень близко, и стал накрапывать крупными и редкими каплями дождь. Стояло безветрие, поэтому дождь шел очень ровно, как по школьной линейке. «Ну вот, хоть освежусь», – порадовался юноша, полагая, что от прохлады станет легче. Однако, вы не поверите, даже в каплях было что-то не то. Совершенно что-то чудное затаилось в тех каплях: они были крупные, как влажные поцелуи, душистые, как полевые цветы, и не унимали, а раззадоривали его зуд.

Прогрохотало еще несколько раз в самые уши, и полил ливень. Улица стала вмиг пуста. «И это хорошо, увидя я сквозь эту пелену мокрый женский силуэт, во мне бы уже не осталось никаких сил держаться», – угрюмо думал весь промокший Нежин, забывший и про бумажку, которую передал ему Бахрушин и которая в кармане его джинсов окрасилась синим, расплылась и стала нечитаемой, и про образы китоврасов, которые он выдумывал в библиотеке, и про все остальное, кроме одного.

Ливень набирал силу, на дороге образовались глубокие лужи, его ботинки наполнились водой. До дома оставалось каких-то пять минут, а он шел все медленнее и медленнее, как будто раздумывая. «Надо бы мне заглянуть, чего-то выпить, а то так простыну и ничего за неделю не сделаю... Да, силы мне сейчас архиважны... Зайду-ка в наш подвальчик, там всегда тепло», – обманывал он так себя страхом перед лихорадкой.

В подвальчике за два дома до его был организован спортбар, специализирующийся на матчах и алкоголе. Один секрет, конечно, Нежин знал про этот бар: девушки здесь были редкими гостями, но вот если они переступали порог бара, и без сопровождения мужчин,

то непременно искали знакомств. И, можно предположить, отчаялись либо по натуре были грубы, так как даже он порой не мог выдерживать царящие там устои и негодную вентиляцию, из-за которой заведение в народе прозвали «Дымовиной».

В «Дымовине» из-за дешевого алкоголя, как правило, толпилось много народу. Тут всегда преследовало ощущение, что вот-вот начнется драка: мат, смех и ругань проходили волнами по крохотному темному заведению, в котором едва ли можно было нормально перемещаться или свободно сидеть, но, видно, от этой тесноты, грозящей мало-мальскую драку превратить в резню с разбитым стеклом, рукоприкладства здесь случались редко, и в случае необходимости буяны, кажется, сами были рады выйти вон.

Нежин протискивался среди людей. Один патлатый байкер с усами и бородой пихнул его локтем, и стопка водки, которую он держал на двух толстенных пальцах и готовился смахнуть на спор, закачалась.

Ему кричали: «Грюндель, давай-давай, Грюндель, не пролей, давай, Грюндель», – качающуюся стопку он опрокинул и так же виртуозно с двух пальцев скинул на барную стойку.

Толпа загудела, из нее высунулся щуплый парнишка лет шестнадцати и дерзко сказал: «Я смогу больше». Многие рассмеялись, подначивая выскочку, Грюндель стал клясться самыми непристойными вещами и радостно чертыхаться, в итоге через десять минут мальчик настоял, принял эстафету и стал стопка по стопке с двух пальцев смахивать водку.

Нежин задержался на несколько минут: его озадачило сумасбродство парнишки, выступившего против матерого волка. Как он и предположил, мальчик не рассчитывал на выигрыш, напротив, он косил, был неловок, судя по

всему, непривычен к спиртному. Когда на него шикали, он практически не реагировал, не огрызался, не защищался, а брал стопку все более трясущимися руками и смотрел холодно прямо на нее и никуда больше. Это был темно-волосый метис с карими глазами, роста ниже среднего, с большой не по размеру головой и пышной шевелюрой.

– Он сейчас упьется! – хохотали в толпе.

– Я знаю, кто это. У моей соседки на даче сарай строил. Гастарбайтер. Его отец бросил, смылся куда-то, – услышал Нежин разговор и попытался пролезть к мальчику, но толпа его оттеснила, и ему пришлось орать: «Вытащите его! Эй, там, впереди, вытащите парня, он несовершеннолетний!».

Но никто его, кажется, не слышал в общем шуме. Он заорал еще громче. Судя по тому, что водку оплачивал проигравший победителю, парень, видно, планировал свалиться замертво гораздо раньше пятнадцати стопок, которые уже смахнул запросто Грюндель.

Рожа у Грюнделя была колоритная: волосатые ноздри, как раздувающиеся меха, весь мохнатый, косматый, толстокожий, грубый до одурения. Он гладил свою бороду, смеялся, открыв рот, и иногда потрясал натруженным коричневым кулаком.

– Да что вы делаете! – заорал Нежин еще громче и стал протискиваться вперед. А пока он протискивался, то думал так: «И что это я таким сердобольным стал?! Зачем мне этот мальчишка?.. Ладно бы от добра делал... Положим... Но ведь я-то от суеверия суюсь туда... А не честнее ли развернуться? И пусть все заказчики улетят от меня, лишь бы не играть в эту гадкую игру».

В итоге Нежин стал так рьяно биться локтями, что все же добрался до середины круга и громко заявил:

– У мальчишки есть своя причина! Снимите его с соревнования!

– Так он сам напрашивался! – загудели.

– Зверек! Пусть Грюнделя одолеет! – кто-то выкрикнул, смеясь.

Парень, еле стоявший на ногах, будто тут же очнулся, метнул ненавистный взгляд и, собравшись с силами, сказал с сильно прорезавшимся акцентом: «Кто назвал меня так? Трус! Вых-х-ади сюда!»

– Это я трус?! – ступил вперед парень чуть старше первого и высокомерно ухмыльнулся. – Да я даже если убью тебя, чурку, мне ничего не будет!

– Ну, так и пойдём, кто кого, – проскрежетал метис, и нечто озлобленно-радостное промелькнуло в его вдруг протрезвевших глазах.

Он повернулся в ту сторону, откуда приглушенно лете­ло «чурка», и все в нем, кажется, в мгновение сверкнуло удовольствием ненависти, сладострастием ненависти, когда ловят каждую черту ненавистного субъекта, когда внимают тону и жесту с тем, чтоб их возненавидеть, чтоб ненавидеть целно, полно, неумно все-все в нем с удовольствием испытуемого отвращения. Мальчик, ка­зало­сь, возвысился, стал даже горд и длинно что-то на сво­ем сказал.

– Мы на твоём не бугульмэ! Га-ва-ри па-русски, если сюда привалил, – кинул парень, пародируя его акцент.

– Пойдем на улицу.

– Я чурками руки не мараю, – ответил парень и развернулся уходить, но тот прыгнул на него и вцепился в шею.

«Ну и кашу я заварил», – пронеслось у Нежина, особенно когда в толпе он услышал шепот про депутатско­го сына, отпрыска и так далее, которым являлся второй парень.

Быстрее всех сработал Грюндель. Он находился близко, разнял их, за шкуру выволок метиса из бара. Парня он трогать не стал, но тот сам пулей выскочил, чтоб

кому-то позвонить. Нежин, проклиная себя и свое медвежье услужение, бросился за ними. Половина бара тоже высыпала.

– Я еще раз повторяю, руки о таких, как ты, не пачкаю, – продолжал рисоваться парень, отстранив телефон от уха.

– Да уж подерись, а не подмогу вызывай! – пробурчал недовольно Грюндель и спустился обратно в «Дымовину».

– Никогда не пачкал руки! Чурка! – хорохорился парень, пока метис выдирался из рук державшего его Нежина и мужика, которые пытались его уговорить не связываться.

Наконец он выдрался и дал сначала Нежину, потом мужику – и кинулся со всей силой ненависти на обидчика. Парень, хоть и был в два раза выше и крепче метиса, упал навзничь. И сразу стало так гадко от этого зрелища, что половина публики разбрелась. Нежин же пытался их разнять, получая тумачи. Буквально через несколько минут к бару подъехал джип. Оттуда выпрыгнули двое мужиков, схватили подростка-гастарбайтера, запихнули в джип и увезли. Нежин сел на тротуар. Схватился за голову. Вскочил. Снова сел. Плюнул.

– И мне ничего не будет! Ха-ха! Говорил же, чурками руки не пачкаю! – поднимал он руки, как будто танцевал фонарики. – А вы думали... Ха-ха! – смеялся парень.

Нежин понял, что он тоже был нетрезв. И хотя все косились на него с презрением, никто с ним связываться не стал, только нашелся один, который стал подхалимничать, узнав из этой потасовки, кем служит его отец.

Спустился в «Дымовину» художник разбитым. Ясноокая, перед которой он прислуживался, оставила его: «Ведь если не убьют, то калекой сделают, – понял он, и так жутко ему сделалось. – Дебил! Зачем я лез! Пусть бы пьяным свалился, не сдох. Все это я какие-то суеверия



выдумываю, а потом в них играю. Дерьмо. Честнее было пойти, найти бабу. Честнее! Вот же гад, гад, гад... праведник хренов... сейчас уж точно пойду бабу найду, чтоб эту прядильню уткнуть и не водить с ней шашни...».

Без всякого настроения он подцепил там бабу (удивительно легко) и, когда со всем разделался, пошел снова в бар. Теперь ему хотелось пить. Нахлестаться. Тем временем в его голове зрели «новые правила». Состояли они в следующем: после того как он так по всем статьям проштрафился, его постигнет кара небесная, заключающаяся в том, что отныне будут обеспечиваться только самые низменные его интересы (вот как сейчас), а помощи в вопросах высоких (таких как творчество) он уже недостойн. В этом и кара: кататься, будто в конопляном масле, в наслаждениях более низкого порядка, чем наслаждение творчества.

«Ведь как легко клюнула на меня эта бабенция! Даже фу... и ведь никогда такого не было, а теперь на – захотел и бери... Как по маслу! Явно здесь не обошлось... И сколько же я так буду мозг себе выносить? Когда уже усядусь за работу?..»

Грюнделя и других лиц, ставших ему знакомыми, в «Дымовине» уже не было. Он поинтересовался у бармена, что с парнишкой-гастарбайтером, но тот развел руками, промычал что-то невразумительное и пессимистичное. Нежин оставил номер и попросил сообщить, если поступят сведения. Взял водку, стал пить.

Припомнилось ему дивное начало: он в библиотечной тиши сочиняет чудные образы, он бежит, смотря на тучу, которая, как слиток золота, полыхает в темном бесконечном небе. И как он докатился до того, что произошло следом? Как он докатился до того, чтобы в этот день?.. Ведь именно этот день нельзя было трогать! Это дар свыше, а он так с ним обошелся.

«Хм, а что, если есть обратная сублимация? Творческая энергия поднялась, не реализовалась и далее скатилась вниз, швырнув человека в плотское... У меня неправильное вдохновение, обратно-сублимированное или хрен знает какое, но, в общем, все блеф, что пишут про вдохновение... Переизбыток вдохновения ведет к духовному обнищанию! К разгулу плотского в человеке... Ницше писал, что переизбыток здоровья ведет к неврозу здоровья... вот-вот, что-то вроде того с творчеством», – спутанно думал он о причинах такого бесславного конца этого славного дня и наливал.

После пятой рюмки он опять похолодел. До колен пробирала дрожь: если мальчишку убьют или покалечат, то он будет виновен. Он завел эту «схему»! Он влез. И почему все так сложно и тонко в его дурной голове: почему он выдумал и подчиняется каким-то «правилам», меняющимся в зависимости от изменений жизненных ситуаций? Почему надо было непременно благодарить за первый заказ небеса и сделаться лучше в этот день? Откуда эти смехотворные, ярмарочные суеверия?.. Откуда эта суеверная нравственность? И не является ли она хуже честной аморальности?

Выполз из «Дымовины» он, когда уборщица подметала разбитые стекла и поднимала стулья, чтоб промыть пол. Выполз больным, разбитым, профессионально непригодным.

«Держим гада. Кормим гада. Греем гада.

Но не гад он, понимаете, не гад!» – подпевал Нежин, пока ковылял, пошатываясь, домой.

«Это ж надо! Ну кому все это надо?

Говорим, бредем и любим наугад.

Держим гада. Кормим гада. Греем гада...

Ну кому все это надо?»

Он не помнил, откуда знал эту песню и кто ее автор, ему просто нравилось повторять единственный куплет.

Он ему соответствовал и плавал на поверхности его сознания, как белый пакет – в мутной послегрозовой воде. Сознание путалось, мутилось, вязло, бликовало, но оставался этот куплет, который, он помнил, так ему соответствовал. Отключился художник, как только бухнулся, даже не раздевшись, в постель, последний раз проговорив иссушенным ртом песенку про гада.

Очнулся он около полудня и сразу почувствовал удар в сердце: парень... жив ли? А потом приплыли баба, злонастроенный Бахрушин и Костряков, головокружительное вдохновение, библиотека, туча, – вся картина прошедшего дня восстановилась, и сделалось тошно. Так тошно, что он снова постарался нырнуть в сон. Проснулся второй раз он еще через полчаса. И испытал все то же самое, только острее и противнее. Ему хотелось вскочить и сбросить прокуренную, налипшую от пота рубашку и грязные джинсы, но он озлобленно продолжал лежать и переваривать, перемалывать события вчерашнего дня. И, самое тяжелое, просачивались к нему «новые правила». Так сказать, на новый день. Что-то говорило ему, что надо найти парня и помочь.

«Вот если бы я был таким добрым, совестливым, это одно... но нет, я слышу, что мне сулят поражение в работе, провал заказа, если я не помогу... Значит, не доброта это, а чертовщина... суеверие... И как мне с ним быть? Плюнуть на парня? Плюнуть на все и делать свое дело, не обращая ни на что внимания? Или снова слушать этот внутренний голос, увещающий меня разыскать метиса? И до чего этот «глас добра» меня вчера довел? Вот до чего довел! Не влез бы я, этот парень бы наклюканный свалился да пролежал в больничке денек, все... а я вот довел его... Ну, если довел, то надо уже помогать? Или опять все боком? А может, я трус?! Боюсь возмездий? Мелочный трус, играющий на былинках и пылинках

и не способный даже встретиться лицом к лицу со злобой в себе?! Да, я трус! Поэтому сейчас во мне хватит мужества встретить расплату, я даже хочу ее встретить, а не трястись по углам суеверий, пусть вся работа покатится в тартарары, пусть тот благословенный день станет проклятым, но я метиса искать не буду... Не буду! Не из-за того, что мне плевать на него, а из-за того, что мне нужно проявить мужество... Чтобы быть злым, нужен какой-то запас мужества! По крайней мере, в моей ситуации... Только так я искореню в себе эти «правила»! Эдакий «музыкальный инструмент» для синергии со Вселенной! Ха! Размечтался о гармониках! О том, что человек и его душа – часть мира. Какой я болван! Если ты скажешь, что правила есть, то будешь под них плясать, а если ты скажешь, что их нет, то они превратятся в пыль! Да! Я не хочу достигать цели и выдумывать правила, я хочу быть свободным! А играя по правилам, я не свободен, я трушу, я привязан к самой игре и ее правилам, я играю в добро и зло, и мне надо избегать зла, не только избегать, но и постоянно ломать себе голову, где зло, а где добро... ведь как они переменчивы! Какие хамелеоны! Нет. Я буду свободен... и пусть никогда у меня не будет ни одного заказа! Легче сойти с ума, чем научиться играть на этом «музыкальном инструменте»! Да и нет его! Нет этого инструмента! Это я, болван, в него верил!»

Нежин вскочил с постели, скинул грязные вещи, как будто освободился от замучивших его «правил», и ему даже хотелось провозгласить: «И будь я проклят!». Однако он удержался, так как следом надо было бы говорить «и проклято искусство», потому как если быть свободным, то уж не только от собственного «я», мечущегося между добром и злом, но и от любви, от искусства и так далее. А от искусства он пока был совершенно не готов освобождаться.

Освежившись в душе и позавтракав, он сел писать эскизы. Мысли его путались, он не мог определиться с сюжетом: то ли повторить сюжет древней мозаики Отранто, где стрела китовраса вонзилась в оленя, то ли изобразить китовраса с венцом на главе. Нежин помалевал немного, потом нашел Псалтырь, оказавшийся в книжном шкафу, открыл 41-й псалом, прочел его: «Имже образом желает елень на источники водная, сице желает душа моя к Тебе, Боже...», удостоверившись в том, что Бахрушин не врал относительно образа оленя и души.

«Не врал», – пробурчал он себе под нос и перечитал псалом про «еленя» еще раз. Затем прочел еще несколько раз, встал и пошел искать метиса.

«Дымовина» жила своей обыденной жизнью. Посетители, зашедшие сюда среди бела дня, казались вымазанными сажей, упертыми и навьюченными своими невзгодами. Хотя весельем еще не пахло, в воздухе будто висела необходимость кутежа, и лица хранили отпечаток этой самой принужденной радости, и все тут дышало ее упертым ожиданием и предвестием. На удивление, в дальнем углу сидел громоздким и тихим Грюндель, подперев ручищей подбородок. Он медленно жевал большую чесночную гренку, держа откушенный кусок у самого рта, якобы он безотлагательно должен последовать за предыдущим на перемалывание, но делал он все так медленно, что ясно было – так он дремал.

Нежин приблизился вплотную к его столу, но ничего не поменялось: Грюндель брал новый кусок, а откушенный держал у самого рта, даже подпирая им измазанные маслом губы.

– Вы тут были вчера...

Мужчина не повернулся.

– Вы тут были и пили с парнем. Потом еще драка завязалась...

Не увидев реакции, Бажен прогрохотал стулом и сел:

– Вы знаете что-то о нем?

– Ниче не наю, – просипел простуженно Грюндель, подняв глаза на Бажена, и снова отведя взгляд вниз, и приставив очередную гренку ко рту.

– А как мне узнать? Помните, в толпе был мужчина, такой плотный, кажется, с залысиной, он говорил, что парень строил сарай его соседке, – напомнил Бажен, – как его звали?

– Не наю, – безучастно повторил Грюндель.

– Понимаете, нам надо найти его. Вас тут многие знают, и вы многих...

– Я же сказал, – кинул Грюндель, на мгновение выйдя из своей похмельной дремы, – не знаю. А ты вообще кто такой? – спросил он нахмуренно, видно, не признав в нем того, кто пытался вытянуть парня из забавы.

– Я вчера тоже тут был. Пытался вытянуть его из соревнования...

– А, так это ты его подвел под монастырь? – неожиданно оскалился Грюндель, как будто нашел что-то веселое, но скоро померк и равнодушно добавил: – Не дал, значит, спить, да? Хм... ага... не дал...

– Так вы ничего о нем не знаете? – спросил Бажен еще раз, но тот с таким видом поднес гренку ко рту, что сомнений не оставалось – он едва ли способен размышлять.

Вчерашнего бармена не было. Единственное, что удалось узнать Бажену, – это номер парня, который работал за баром в злополучный вечер, и его приблизительный график. Никаких, совершенно никаких новых деталей не вырисовывалось, и от этого появлялось ощущение полной непричастности ко всей истории. «Ну, лежит где-то на больничной койке либо во гробу метис. Пусть лежит. Что же мне? – спрашивал себя Нежин, выходя из «Дымовины» на улицу. – Решил же я послать к чертовой матери все

свои выдумки и правила. Решил же я послать к чертовой матери «музыкальный инструмент» для сонастройки со Вселенной... Ха-ха! С душой мира! Художник не должен быть злым или добрым, он должен быть художником. И лучше пусть он будет злым и честным, чем обладателем такой суеверной «нравственности», как я... Все-все!»

Но ноги сами шагали от дома. Они якобы шагали за докторской и городской в «Копейку». Протянув так еще время, Нежин позвонил бармену.

Тот вспомнил, что мужчина, чьей соседке строил сарай метис, несколько раз приходил в бар со старьевщиком, продавцом антиквариата, чья лавка у сквера художников.

«Опять я что-то выдумываю, опять я вспоминаю про альбом, купленный как раз там и помогший мне восстановить авторитет в глазах Бахрушина... Да когда я уже успокоюсь?! Нет, нет, все совпадения – только совпадения. Нет, нет никаких невидимых нитей, узрев которые можно складывать иначе свою судьбу – это ересь. Черт тоже хитрый. Приду к старьевщику и, если он не знает, брошу вообще всю затею. Как же я устал от своей головы», – думал он по дороге к старьевщику, переступая через лужи, в которых отражалось низкое сонное небо, шел, посматривая в грязноватые витрины с голыми манекенами, с которых сняли одежду ввиду сезона распродаж.

Образ нитей, тонких, прозрачных и переливающихся в солнечном свете паутин стоял перед ним. Почему-то (и тут его теория теряла в неясности следы) ему казалось, что все, абсолютно все, что мы делаем и не делаем, соотносится с этими нитями. Именно они настраивают некий небесный музыкальный инструмент. Даже его скользкий взгляд по манекенам и севшая рядом с ними с пакетом жареного миндаля, в синем берете курносая девчушка, качающая ножками в сапожках в ожидании

мамы, соотносятся с нитями. И эти нити, их можно даже спрясть, сделать самому, как бы проникнуть туда, где они плетутся. И не то, что если она не доест миндаль, то его увидит администраторша, сделает выговор за мусор продавщице Лиле, Лиля пойдет расстроенная к Пете, с ним поссорится, Петя психанет и пойдет к Наде, Надя устроит козни и заграбастает его обратно, а Лиля встретит свою новую любовь, мужчину, который через три года ответит их на карусель, которая зависнет на самой верхушке и свалится, – не то, совершенно не то, что подчинено подобной абсурдной взаимосвязи и нашей человеческой логике, но нечто иное, не такое логичное, но осязаемое...

И насколько категории нравственности известны этой невидимой прядильне?.. Правда ли эти законы как-то с нею соотносятся, приводя в действие те или иные нити, делая изысканнее рисунок ткани? Скорее, он чувствовал имморальность этих бесконечных нитей, даже их устрашающую ледяную имморальность, но вот стоило ему спроецировать этот образ на уровень обычной жизни, где бьет закон времени, пространства и смерти, как почему-то (совершенно непонятно) начинал перед ним разыгрываться настоящий нравственный (именно нравственный, несмотря на всю интракосмическую имморальность) квест: игра с собственной совестью, успех в которой прибавляет к его берегам блага, а поражение приводит к творческой несостоятельности (это было худшим из поражений). Порой ему казалось, что он хранит дикий секрет, порой – что он сумасшедший. А суть квеста заключалась не в том, чтобы непременно делать то, что диктует совесть, ибо она бывает глупа и слепа, а чтобы подключать некую высокую интуицию, которая предугадывает правильность выбора. И как часто случалось, что выбор, совершенный по совести, был мелок и приводил к целой лавине несчастий, а то, что предугадывала интуиция, через три шага вело



к худшему из зол! Поэтому требовалась не только совесть, но еще духовное зрение, ясный ум и масса других качеств, навыков и духовных инструментариев для манипуляции в этой тонкой сфере духа.

Давно, уже очень давно его измучила эта теория. Вот два дня тому назад он попытался ее и себя, проеденного ею насквозь, проклясть. Однако все как будто возвращалось на круги своя. Он как будто уже не мог жить иначе: и в его голове щелкал и щелкал пряльщик, созданный им и выдающий ему «правила» на новый день, и варианты ответов, и варианты развития событий. А то, что он единственный со всего курса получил заказ на роспись стены для уважаемого господина бывшего мэра, ему нашептывало, что, может (может ведь, черт подери!), все же это приносит результаты – и еще немного, и он усовершенствуется и сонастроится с музыкальным инструментом Вселенной.

Из лавки «Хрустальный Гусь» доносился клавесин. Точнее, поскрипывающая, заунывная запись странной мелодии, состоящей из одних реприз, шедших одна за другой, и вгоняющей слушателя в состояние какой-то меланхолической зависимости от этих повторений. У окна, при свете зажженного абажура с райскими птичками и цветочками, заваленный со всех сторон пыльными статуэтками, картинами, стульями, сосудами разного назначения, конфетницами, книгами, покрывалами, подсвечниками и неработающими граммофонами, с перьевой ручкой в руке сидел старьевщик, согнувшись перед большим выцветшим журналом и как будто согбенным телом повторяя свой крючковатый нос.

Он проводил плановую опись своего имущества. И сейчас перед ним стоял весь позеленевший корчик, на осмотр которого он уже потратил час и пришел к неутешительному выводу: надо чистить. Удручало старьевщика

то, что поучительные слова, отчеканенные по венцу его, уже стали нечитабельны. А ведь он хотел было его сфотографировать и написать небольшую статейку, увязав традицию чеканки надписей на ковшиках с исследованиями Масару Эмото об «информационности» воды, и тем самым хоть как-то создать движение вокруг своего магазинчика и всколыхнуть его стоячие воды. Увы, в лавку забредали только от нечего делать или прячась от непогоды, и то – пару раз в квартал.

– А вот и мой крайний покупатель, – улыбнулся старьевщик, приподнимаясь, чтоб пожать через прилавок руку юноше, – в прошлый раз вы у меня взяли журнал по савафидской и тебризской миниатюре. Да-а-а, еще той гвардии востоковедов. Эх, вот это было движение на Восток! Так как вы его нашли?

– Отлично, очень даже мне помог. Как вы все помните? – проговорил Бажен, подавая руку старьевщику и встречая глазами его умный и несколько лукавый взгляд. – Но сейчас я к вам пришел по другому поводу. Ищу одного человека, которого, предположительно, вы знаете.

– Ну что же, всем, чем смогу, помогу.